

Недавно пересматривал старые фотографии; есть у меня такая привычка — время от времени покопаться в своём домашнем архиве. И попался на глаза снимок, где мы с отцом, оба с лопатами в руках, стоим в саду возле огромной горки сваленных в кучу яблок.

Снимок снят во второй половине шестидесятых годов прошлого века, когда я, отслужив своё в армии, вернулся домой, в Запорожье, и сразу же впрягся без лишних слов помогать родителям «по хозяйству».

Жили мы в своём доме на окраине города, на шести сотках жирной украинской земли, доставшейся моему отцу на заводе «Запорожсталь» в первые годы после войны. Прежнее жильё, где квартировали мои родители, поженившись перед самой войной, было разбито немцами, и хочешь не хочешь, а надо было обустроиваться на новом месте.

Вот мой отец и выбрал по совету цехового профкома городскую окраину, где можно было не только построить дом, но и обзавестись собственным огородом с садом. Жили в те времена трудно, и на счету была каждая копейка.

Фотография эта запомнилась мне ещё и потому, что, будучи уже на третьем курсе факультета журналистики Уральского государственного университета в тогдашнем Свердловске, я показал её в ряду прочих своим однокурсникам, с которыми жил в общежитии. И те принялись с интересом её рассматривать.

— Вот это картошка! — воскликнул удивлённо Борис Кортин, ближайший мой университетский приятель. — А ты же говорил, что она у вас, на Украине, плохо растёт.

— А ну-ка дай-ка мне, — потянулся к снимку Виктор Хлыстов, второй мой сосед по общежитийской койке. — О-го-го... В два кулака клубни!

В ответ я только рассмеялся. В те дни мы как раз вернулись в Свердловск с колхозных полей после студенческой картошки в сентябре и потихоньку начинали готовиться к предстоящим в университете занятиям.

— Какая там картошка, — пожал я плечами. — Это не картошка...

— А что?

— Яблоки. Которые слегка подпорчены червями и которые падают на землю. Мы их так падалкой

и называем. А сейчас с отцом мы всё это будем закапывать в землю. Восстанавливать, так сказать, плодородие чернозёма...

— Закапывать яблоки в землю? Ну вы даёте...

Мои удивлённые друзья долго ещё вертели этот любительский снимок в руках, не веря своим глазам, и недоверчиво при этом цокали языками, в то время как я увлечённо стал рассказывать им о главном дереве нашего семейного сада в Запорожье — об огромной, как баобаб, яблоне.

Помню, как ещё в 1949 году, когда только мы начинали обживать на новом месте, отец привёз с большого городского базара тонкий и хрупкий яблоневый прутик и торжественно вручил его матери. Тогда же я услышал от него и новое для себя слово: «Безгуда». Так назывался сорт.

Прутик этот посадили в самом центре садового участка, он прижился и со временем превратился в мощное и раскидистое дерево, к которому впору было потом экскурсии водить. Его гладкий, как у ореха, ствол с трудом удерживал густые, по пять-семь метров в длину, ветки, подпираемые с земли мощными подпорками. Иначе они не выдержали бы тяжести созревающих плодов и сломались бы в первый же урожайный год.

А плодоносила яблоня через год, год она «отдыхала». Но даже и в это время, находясь «на отдыхе», она не забывала порадовать своих заботливых хозяев пятью-шестью ящиками отборных ароматных плодов, вкус которых снится мне до сих пор.

Зато когда наступал урожайный год...

Уже начиная с самой весны, все домочадцы были заняты только одним: поиском деревянных ящиков для предстоящего урожая. Пацанами мы их просто «тырили» возле магазинов, подбирали на «летучих» рынках, выпрашивали у сердобольных продавщиц...

И всё равно ящиков никогда не хватало!

Потому что в урожайный год «Безгуда» приносила около сотни вёдер огромных и очень красивых яблок, аккуратные штабеля ящиков с которыми по праву занимали почти половину вместительного отцовского входного погреба.

Я и сейчас вижу эту картину: спускаешься в погреб по слегка отсыревшим от конденсата бетонным ступенькам и чувствуешь приближающуюся прохладную свежесть... А когда открываешь

настежь входную дверь, то тебе в лицо ударяет такой яблочный аромат, что просто захватывает дух!

Какая с этим парфюмерия сравнится? Кальвадос, да и только...

И надо сказать, что «Безгуда» производила яблоки очень высокого качества. Лежали они в отцовском погребе, не портясь, до следующего урожая, и это была для меня сущая мука. Уже можно было нарвать и попробовать в саду яблоки нового урожая, тот же «Белый налив», например, а мать заставляла доедать ещё и прошлогоднюю «Безгуду».

Ну не выкидывать же её на помойку?!

Поэтому я, откровенно говоря, этот сорт яблок не очень любил. Слишком увесистыми и сытными были «безгудовы» плоды, много не съешь.

Другое дело — тот же «Белый налив», о котором я упомянул. Удивительный сорт: те яблоки, что под таким названием завозятся в Красноярск из Китая или из Центральной Азии с Кавказом, и рядом с ними не лежали. У нашего «Белого налива» плоды были кисло-сладкие, очень нежные и красивые. Надкусишь — как будто бутылку холодного шампанского откупорил...

Помню, как тогда впервые по телевидению начали показывать ставший впоследствии культовым сериал про Штирлица и как мы все с нетерпением ожидали наступления вечера и начала очередной серии. А какое кино без фруктов на столе?

Вот я и готовился к просмотру фильма особенно тщательно, так как именно на мне лежала обязанность: каждому приготовить то, что он больше всего любил.

Для матери, например, надо было нарвать и помыть пару груш — больше всего она любила «Немку». Действительно, вкусные и очень сочные груши.

Отца ждал всегда десяток «Мушкаток» — это тоже сорт груш, но они, в отличие от «Немки», небольшие по размеру. Зато возьмёшь в рот — вяжут, как айва.

А для себя я готовил всегда, если был сезон, целое ведро только что сорванного «Белого налива». С такими яблоками можно было не только телевизионные сериалы смотреть, но и всю свою жизнь прожить, если надо, не сходя с дивана. — И куды воно в тэбэ влазэ? — с удивлением говорила моя мать, когда я доедал последнее яблоко из такого ведра уже на титрах заканчивающегося фильма.

Я только усмехался в ответ: а вот влазит...

Однако нашу «Безгуду» я запомнил ещё и потому, что это самое большое дерево в нашем саду стало для меня жильём. На всём протяжении тёплого сезона в Запорожье — а он на юге Украины длится почти полгода, с мая по октябрь.

И связано это было с тем, что большую часть своего времени я проводил на улице и загнать меня вечером домой было для моих родителей настоящей мукой.

Вот мать и решила: а зачем лишний раз тормозить спящих домочадцев, чтобы мне открывали дверь, она у нас закрывалась изнутри, если можно поставить под ту же «Безгуду» просторную кровать, и «нехай вин спыть там»?

Ночи на юге тёплые, дожди у нас летом случаются не часто...

Идея мне эта понравилась, и вскоре я возвратился уже с улицы домой когда захочу. Никого при этом не тревожа и никому не мешая спать.

Но как быть с увесистыми, по семьсот-восемьсот граммов каждое, яблоками, которые нет-нет да и срывались вниз с высокого дерева на землю? Не слишком ли это опасно — подставлять под них свою голову ночью?

Решить эту проблему, как это ни странно, «помогли» комары. Они в днепровских плавнях всегда водятся в неимоверном количестве, а так как неподалёку от нашего дома пролегал балка с протекавшей по ней неширокой речкой, густо поросшей камышами, то чего-чего, а комаров ночью хватало и у нас.

Днём, в жару, они, конечно, летать опасались. А вот как только солнце скрывалось за горизонтом и какая-никакая свежесть, а всё же появлялась в воздухе, то вслед за этим, надрывно и непрерывно зудя, как выискивающие свои цели истребители, появлялись в воздухе и комары. Спасу от них не было никакого!

Не производила тогда советская промышленность каких-либо защитных средств от кровососов, видимо, было не до этого, а если и производила, то нам они были неизвестны.

Вот я и попросил у матери, чтобы укрываться под яблоней, зимнее ватное одеяло — ни одному комару оно было не по зубам!

Так я потом и спал, укутавшись плотно, с головой, в ватное одеяло, надёжно защищённый как от жаждущих моего тела кровососов, так и от падающих на голову с дерева яблок.

Оставлю в одеяле небольшую щель для дыхания свежего воздуха — и сплю себе спокойненько, умаявшись за длинный, как мне тогда казалось, день. Сплю до двенадцати, а то и до двух часов дня, приводя этим в искреннее изумление окружающую публику.

— Хай поспыть, — добродушно отмахивалась мать, видя недоумение на лицах соседней. — Щэ усние набигаться...

Как в воду глядела моя добрая и мудрая мама...

А между тем яблоки с нашей «Безгуды» падали на мою надёжно защищённую одеялом кровать всё чаще и чаще. Когда отец был моложе, то у него хватало сил не только на то, чтобы отработать

смену на заводе, но ещё и возиться по дому — что-то там подремонтировать, полить в огороде, покопаться в саду.

А когда он вышел на пенсию и стал постепенно стареть, сил поубавилось, и обрабатывать, как в прежние времена, садовые деревья ядохимикатами, защищая их от плодожорки и других природных вредителей, стало труднее. И сад с годами стал терять свой образцовый вид.

Дети к тому времени уже разъехались. Я в поисках счастья подался на Крайний Север, брат с сестрой перебрались в городские квартиры, и остались мои старики на хозяйстве одни.

А много ли одному надо? Тех же яблок, например?

И хотя моя мать по привычке по-прежнему каждое лето ещё закатывала огромное количество консервированных помидоров и огурцов, готовила баклажанной икры на зиму, варила варенье, компоты («А якщо диты придуть в гости?»), но мало-помалу родительский энтузиазм проходил, и сад ветшал, а следовательно, и природных вредителей в нём становилось больше.

Помню, как, приехав в очередной раз «на побывку» домой из Воркуты, я впервые отметил эти следы начинающегося запустения. Сидим мы с отцом под накрытием — это что-то вроде летучего бунгало, устроенного во дворе из брезента и виноградной лозы, разговариваем, а прямо у нас на глазах спускаются на паутинках с растущей рядом яблони извивающиеся на солнце гусеницы.

Плодожорка!
— Что ж это такое, отец? — вскочил я удивлённо с дивана.

Но тот в ответ только равнодушно махнул рукой. И философски добавил:

— И нам хватэ, и червам. Хай едят...

Что-то они временами ещё пытались спасти, заготавливая сухофрукты, но когда увесистые мешки с ними заполнили весь домовой чердак, бросили и это.

Сизифов труд!

И вот тут подошёл я, наконец, к главной героине своего рассказа, а всё, что было написано до этого выше, это не более чем исторический фон, без воссоздания которого многое было бы непонятно читателю.

Уж и не знаю, как в других местах, а там, где жил я, соседей называли не по имени, а по фамилии. Причём перевирая её в украинской интерпретации.

Скажем, стряпает, например, моя мама пирожки, а была она в этом деле непревзойдённой мастерицей. И по ходу этого занимательного процесса сразу же упакует их с десяток в эмалированную мисочку, аккуратно обернутую марлей, и протянет её мне:

— Виднеси цэ для Павлючыхы, хай покуштуе...

Я беру из её рук миску и несу горячие пирожки Павлюкам, которые жили от нас по соседству через один дом. Потому что так на нашей улице тогда было принято.

И не только пирожками делились друг с другом соседи. Многие в те времена держали и коз, и свиней, и кур, и даже коровы у некоторых были. А где хранить мясо, молоко, масло? Разорённая недавней войной страна холодильников ещё не производила...

Вот люди и выкручивались, как могли.

Заколот, скажем, свинью живущий от нас за три дома по улице Кнырык, и через какое-то время «от Кнырычихы» шёл к нам гонец, несая в руках хороший шмат свежака — свежеприготовленной свинины. Из которого моя мать могла в считанные минуты приготовить такой деликатес, как домашняя украинская колбаса. Или же пустить соседское мясо на борщ. Чтобы потом, через какое-то время, отправить по обратному адресу примерно такой же кусок свежеполученной свинины, но уже из своего хозяйства.

А вот для Сюрчихи, как мне помнится, я ничего не носил, потому что жила она от нас через улицу и, видимо, относилась уже к другому околотку.

Я даже не знаю, где и кем работал её чоловік, то бишь, по-русски, муж. Их угловой дом стоял на пути к рейсовому автобусу, соединявшему наш посёлок с центром города, так что пройти, минуя его, было невозможно. А конечная остановка автобуса была метрах в ста пятидесяти от нашего дома.

Идёшь на автобус или с него по дороге домой и видишь, что в саду или в огороде у Сюрчихи кто-то копается в земле. Чаще всего это была она сама, хотя временами там я замечал и хозяина. Довольно высокого, сухопарого мужчину, редко когда вступавшего с кем в разговор.

Был он, как говорится, при этом большим любителем Бахуса, что никогда в наших краях особо не поощрялось, хотя и не осуждалось категорически.

При том адском физическом труде, как я понимаю, который повсеместно практиковался в разорённой войной стране, по-другому было, видимо, нельзя. Не выдерживал иначе чрезмерных физических нагрузок человек.

И я прекрасно помню те времена, когда возле всех проходных завода «Запорожсталь», а было их по периметру предприятия не менее двух десятков, в круглосуточном режиме исправно функционировали небольшие деревянные хибарки с привычным названием «Киоск», в которых идущий после смены рабочий люд легко мог отовариться таким согревающим предметом, как «Московская водка» или «Украинская горилка», выпить поллитровую кружку холодного пива или же просто слегка перекусить — съесть на закуску пару-тройку свежеприготовленных пирожков.

Причём цены на всё это были вполне божеские. Скажем, тот же пирожок, причём очень хорошего качества, стоил сущие копейки — в зависимости от начинки. Самый дешёвый, с картофелем, — четыре копейки, с капустой — шёл по пять, и только пирожки с ливером или с мясом стоили дороже — от семи до десяти копеек.

Причём в них были настоящее мясо и настоящий ливер, а не растительный белок или соя, как это практикуется сейчас.

Потом, правда, уже в хрущёвские времена, эти питейные заведения у заводских проходных начали одно за другим закрываться, пока не исчезли совсем. И теперь на их месте густо колосится степной бурьян...

Был у Сюрчихи, помимо её мужа, ещё и сын, Сашко, единственный, как мне помнится, в семье. Тоже такой же неразговорчивый, как его отец, и был он лет на пять старше меня.

Отличался он от своих сверстников, пожалуй, только своим почти двухметровым ростом, и одно время даже ходили разговоры, что его пригласили играть в городе за какой-то баскетбольный клуб. Но вот что было дальше, я не знаю.

Виделись мы с ним нечасто, просто здоровались при встрече, и всё. Впрочем, как и со всеми остальными Сюрками. Хоть и не близкие, но всё же соседи.

Один только раз у меня возник к этой семье неподдельный интерес — когда отец, вернувшись с работы, буквально огорошил нас с матерью известием:

— А Сюрко-то зависылся!..

Сразу же появились вопросы: как? почему? отчего?

Но этого никто не знал. Отец, правда, не преминул, конечно, съязвить при этом матери, назидательно глядя на неё, что Сюрчиха, наверное, крепко пилила его день и ночь за то, что тот иногда выпивает. Вот человек и не выдержал, повесился с горя...

Моя мать этот намёк пропустила мимо ушей, а только вздохнула горестно. Всё ж таки жалко человека, да и как теперь Сюрчиха будет управляться одна?..

А я, проходя теперь частенько мимо Сюрчихино дома, волей-неволей поворачивал в его сторону голову и облегчённо вздыхал, видя, как тётя Нюра, так её на самом деле звали, уже только одна копошится на своём огороде или в саду.

Но с годами и она начала сдавать, становилась всё суше и суше, как-то даже незаметнее, пока, наконец, настолько сгорбилась и согнулась, что без сучковатой деревянной клюки не могла уже и шагу ступить.

Такой она мне и запомнилась — с деревянной клюкой в чёрных и костлявых руках, сгорбленная и седая... А потом я уехал из Запорожья и домой теперь навещался только наездами летом.

Помню, как радостно встретили мои родители первые горбачёвские перемены, и особенно начавшиеся послабления в предпринимательской деятельности.

Нет-нет да и на их улице стали появляться прыткие «покупцы», отношение к которым у старых людей было поначалу доброжелательным. Они приезжали на окраины города на выдавших виды легковушках, знакомились со стариками, осматривали в их садах плодовые деревья и тут же, на корню, скупали урожай. Чтобы потом, на другой день, перепродать его с выгодой для себя на городских базарах.

Для людей, у которых фрукты, как правило, наполовину пропадали, это было сродни чуду, подарком свыше. Такие покупатели сами лазали на деревья, сами срывали плоды и аккуратно упаковывали их в деревянные или в картонные ящики.

И тут же расплачиваясь за них с хозяевами.

Причём цены они устанавливали вполне божеские. Например, десятилитровое ведро калиброванных абрикосов, а такие абрикосы не уступают по величине персикам, однако на порядок их вкуснее и нежнее, они брали у стариков за три советских рубля. В то время как на большом городском базаре в Запорожье, где я сам покупал их для варенья, те стоили всего на рубль или два дороже.

И жизнь городских окраин, где и созревало девяносто процентов того, что продавалось потом на городских рынках крупного промышленного центра, заметно оживилась. Люди почувствовали реальную выгоду от своих садовых насаждений и стали ухаживать за деревьями.

В том числе и мой отец. Обрабатывать весь сад, как в прежние годы, ядохимикатами он уже, конечно, не мог, но зато я часто его видел с секачом в руках, обрезающего засохшие ветки, формирующего крону деревьев.

Словом, рынок, пока ещё тот рынок, советский, пришёл и на наши городские окраины...

Потом, правда, сказала наша славянская терпимость или толерантность, называйте это как хотите, но мало-помалу местных покупателей на наших улицах стали вытеснять кавказцы. Мы их по национальностям ещё не различали, но торговаться они умели. Не продашь как нам надо — ночью сами бесплатно оборвём.

И старики сдавались. А цены на фрукты (правда, только закупочные!) резко пошли вниз...

Но и это было всё же намного выгоднее, чем закапывать урожай в землю. К тому же машины у новых хозяев жизни были поновее, попрестижнее, держались они все гуртом, кучкой, да и по деревьям сами не лазали, а привозили с собой всякий бездомный люд, с которым расплачивались, как я это не раз видел, не наличными деньгами, а какой-то мутноватой, коричневого цвета, жидкостью.

По-видимому, чачей, как я теперь понимаю... И родителям моим это очень не нравилось.

Однако же, вкусив «живую копияку», как говорила моя мать, люди не отказывались от хорошей добавки к неплохим тогда пенсиям, заработанным на заводах, особенно пройдя недавно по очередной в нашей стране волне борьбы с нетрудовыми доходами. Ты попробуй всё это вырастить, довести до ума, а уж потом объявляй их нетрудовыми — так считали на нашей улице.

И в один из таких летних августовских дней матери захотелось свежих арбузов и дынь с рынка, а в государственной торговле на них ещё был не сезон. Арбузы, правда, в магазинах уже были, но только херсонские, а матери хотелось «Огонька», да и продавались они для юга ещё дороговато.

Словом, была передо мной поставлена задача: нарвать пару вёдер лучших наших груш, «Немки», доставить на рынок, там продать, а на вырученные деньги купить бахчевых.

Подходить же отцу к дереву, я это знал, было строжайше запрещено. Во-первых, в таком возрасте по деревьям уже не лазают, и у него вестибулярный аппарат был давно на нуле. А во-вторых, постарев, отец перестал различать цвета, и его всегда почему-то стало тянуть на зелёные плоды, в то время как рвать для продажи, да и для еды тоже, надо было только спелые.

В общем, получив задание, я вскарабкался на «Немку» и в течение получаса наполнил два десятилитровых эмалированных ведра отборными душистыми плодами.

А так как груши были действительно на загляденье, то я, не слезая с дерева, попросил у матери ещё два пустых ведра: уж если кутить — так кутить...

Их я, не слезая с дерева, заполнил их с такой же скоростью, как и два первые. А спрыгнув затем на землю, с удивлением обнаружил, что плодов на «Немке» почти не убавилось. Так, еле заметно, чуть-чуть...

Но теперь встала другая проблема: как всё это дотащить утром до автобусной остановки? На помощь отца я не рассчитывал — ему после двух перенесённых уже инсультов делать это было опасно.

А нести по два полных ведра в одной руке никак не получалось. Хотя мать аккуратно связала их по два полотенцами, но четыре ведра сразу оказались неподъёмными и для меня.

Донести я, быть может, и донесу, но что потом скажет мой остеохондроз?

И тогда я предложил метод переноски всевозможных тяжестей, не раз мной опробованный на практике во время моих частых переездов по стране: перенести всё это до автобуса «жабьими шажками».

— А это как же? — оживился отец.

— Да очень просто. Вы стоите и ждёте меня. А я с двумя вёдрами иду от вас по дороге метров

тридцать-сорок. И, поставив их так, чтобы их было видно, возвращаюсь за теми, что у вас. В то время как вы в это же время идёте на моё место. С вашими вёдрами я прохожу уже метров шестьдесят-восемьдесят, и потом всё снова повторяется.

На том мы и порешили. И, довольная тем, что нашлось решение этой, казалось бы, неразрешимой проблемы, мать бережно завернула сверху груши марлей (чтоб не пылились!), и я их отнёс на ночь в погреб.

А утром, встав спозаранку и наскоро перекусив, я вынес эти вёдра из погреба, и мы «жабьими шажками» направились в сторону автобусной остановки — первый автобус отправлялся в центр города по расписанию без пятнадцати минут шесть.

Один «шажок», второй, и постепенно мы предали с отцом почти половину пути. Как вдруг он остановился и стал пристально вглядываться через забор на Сюрчихино подворье — мы в это время как раз поравнялись с её домом.

— Нюра, це ты? Шо ты там робышь?

Ночи в конце августа стремительно прибывали, но всё-таки было уже полшестого утра, и на востоке начинало розоветь.

Вглядевшись в расплывающуюся темноту, я увидел лежащую на огороде человеческую фигуру, в руках у которой была с коротким черенком лопата.

Это была Сюрчиха!

Услышав моего отца, она на мгновение затихла, потом повернулась в нашу сторону и немножко приподнялась, опершись на локоть.

— Це ты, Петя? (Так звали моего отца.) На базар едете? А я копаю картошку, хочу зварить на завтрак!

— А почему лёжа? — не унимался отец.

Сюрчиха с ответом помедлила.

— Так я уже давно не хожу. Радикулит проклятый. А исты-то треба!

Отец постоял ещё немного, гмыкнул негромко, потом повернулся ко мне:

— Ты бачишь, яка людина?.. Ходить не може, а картошку в огороде копае...

Однако надо было спешить, и мы снова всё теми же «жабьими шагами» устремились вперёд, к автобусной остановке. И когда рейсовый автобус наконец подошёл и мы погрузились в него (кстати, ещё один небольшой штришок для нынешнего чиновничьего люду: весь автобус был набит вёдрами с дарами здешних садов, но никакой платы за их провоз в общественном транспорте при советской власти не требовалось. Как никогда не платил я за это и в тогдашних поездах, хотя ежегодно увозил из Запорожья в заполярную Воркуту по полтора-два центнера различного груза — огурцов, помидор, варенья, консервов... Объявление такое, правда, висело в вагонах, что бесплатно разрешается провозить в поездах только

тридцать пять килограммов ручной клади, но ни разу проводники не воспользовались своим правом оценить мой багаж. Наверное, понимали, куда люди едут...), то мой словоохотливый обычно отец, у которого в знакомых было пол-Украины, неожиданно смолк и всё повторял тихонько про себя: «Яка людина...»

Но вот, наконец, мы у цели: в нескольких десятках метров от нас — центральный рынок Соцгородка, или, как мы его называли в обиходе, Шестого посёлка. Отсюда инженерная элита ещё первых сталинских пятилеток уходила и на возведение Днепрогэса — он менее чем в сотне метров от посёлка, и на объекты могучего промышленного комплекса — Днепростроя, дым от работающих там сейчас заводов застилал половину лазоревого запорожского неба.

Пройдёшь от рынка к Днепру пару коротких переулков — и сразу выходишь на громадную фигуру самого высокого на Украине памятника Ленину, установленного на съезде к днепровской плотине «видвдячного украинского народу». Что не помешает, однако, тому же народу несколько десятилетий спустя распилить многотонную бронзовую фигуру вожда на куски. А также сбить громадные ордена с барельефа плотин, установленного на круче.

Но всё это произойдёт потом, спустя много лет, а пока соросовские учебники, по которым будут учиться потомки, ещё пылятся на книжных складах, и нет никакой возможности у наших «партнёров» доставить их на территорию тогдашней могучей советской империи.

Тем же способом, «жабьими шажками», мы добираемся с отцом до торговых рядов рынка, и я с любопытством осматриваю знакомые деревянные сооружения. Когда-то, работая в Запорожье редактором заводской газеты, я делал её здесь, прямо на рынке. Да вот же она, эта типография, так и стоит! И пока корректор читала газетные тексты и вносила в них необходимые правки, у меня в запасе было два-три часа свободного времени, которые я либо проводил здесь, питаюсь чебуреками, либо же шёл прогуляться к Днепру.

Так что этот рынок, рынок Соцгородка, я изучил как свои пять пальцев.

Чего только на нём не было! Ну, на фруктах и овощах останавливаться не стоит, это и так понятно — всё-таки Украина. Но в его миниатюрных магазинчиках можно было найти любой товар, разве что кроме волшебной лампы Аладдина. И одежда, и обувь, и предметы искусства и быта, и даже такие вещи, как парфюмерия и косметика. Причём всё это — только отечественного производства, без всякого китайского и турецкого ширпотреба.

Помнится, как-то отец попросил меня купить ему навесной замок — для чего-то понадобился по хозяйству, и я отправился за ним в первый же свой рабочий день в магазин «Скобяные товары».

Боже ж ты мой, какой меня ждал выбор! Несколькое сот замков было аккуратно выложено на длинном деревянном прилавке, и каждый со своим фокусом. И тоже все — только советского производства.

Правда, при покупке они в лучшем случае упаковывались в невзрачную картонную коробочку с неразборчивыми шрифтами на лицевой стороне, а то и просто в жёлтую (руду, как говорят на Украине) бумагу, но что касается их качества...

Это были настоящие Т-34, а не замки. Работали, не ломаясь, по сто лет.

Рассказываю я о второй половине семидесятых годов прошлого века, когда правящая в стране партия выдвинула лозунг: «Товары — для народа!» — и эти товары действительно хлынули на отечественный рынок мощным потоком. Кто же знал тогда, что всех нас ждёт впереди?..

Быстро сориентировавшись в ситуации, отец легко нашёл на деревянных рядах «своё» место: несмотря на раннее утро, людей на рынке было уже много, — и уже оживлённо о чём-то говорил со своими соседями.

А я, поставив возле него четыре наших ведра, отправился на другой конец рынка, в весовую, куда всегда была небольшая, в несколько человек, очередь.

Дождавшись своей очереди, я протянул весовщице десять копеек и получил от неё что-то похожее на автобусный билет. Этим я оплатил так называемое местовое, то есть место на рынке, дающее мне право торговать чем угодно на нём до самого закрытия. То есть — до восьми часов вечера.

Но мне нужны были для торговли ещё и весы, поэтому я добавил весовщице ещё двадцать пять копеек и получил от неё желаемый измерительный прибор — вместе с коробочкой, в которой находились гири.

И на этом всё. Никакого залога, ни денежного, ни иного, оставлять тогда не полагалось. Как и платить каких-либо дополнительных налогов — тоже. Всё это входило в те тридцать пять копеек, которые я оставил властной, но доброжелательной на вид женщине, занимающейся на рынке организацией торговли.

Нелишне было бы напомнить сегодняшним властям и о том, что пенсия у моего отца была максимальной для рабочего человека в те времена — сто двадцать рублей в месяц. Поэтому я и запомнил от него, окончившего в своей жизни всего три класса церковно-приходской школы, что главный рыночный постулат звучит так: «Рынок — это когда всем выгодно: и государству, и продавцу, и покупателю. Иначе это не рынок, а махлёж...»

Мой отец постоянно придумывал новые слова, и в этом ему не было равных. Поэтому это слово «махлёж» я впервые услышал от него, ещё не умея

читать. По-видимому, он образовал его от украинского слова «махлюваты», то бишь обманывать.

Но понимали его все без перевода.

А пока он занялся установкой полученных от меня базарных весов, тщательно подгоняя их под стрелку, чтобы не было «махлежа», а мне дал задание пройтись по торговым рядам и выяснить, кто чем торгует и почём.

Я без труда справился с этим заданием, так как в те времена, о которых я рассказываю, на наших рынках продавали свой товар только люди, как сказали бы сейчас, славянской национальности. Никаких представителей с Кавказа или со Средней Азии тогда ещё не было.

Нет, правда, вру: была на рынке Соцгородка в Запорожье пара грузин, один из которых продавал аппетитного вида гранаты, которые тогда редко кто покупал (один рубль двадцать копеек за килограмм), а второй торговал специями. Душистый перец, хмели-сунели, лавровый лист (пакетик с последним стоил тридцать копеек).

Выяснив, что и как, я уже через десять минут стоял перед отцом с докладом.

— Ну шо? — повернулся он ко мне. — Чим там людэ торгують?

— Груш на прилавках достаточно, — по-военному чётко доложил ему я. — Но таких, как у нас, нет. Продаются «Дули», хорошие груши, как у нашего дедушки были на хуторе. По рублю за килограмм. Есть ещё «Дюшес», за эти просят семьдесят копеек. А вот «Мушкатка», причём хуже, чем у нас дома, идёт сегодня по четыре целковых. «Немки» же ни у кого нет. . .

Отец в ответ только хмыкнул, довольный. У нас с собой была как раз «Немка», все четыре ведра. — Тогда вот что, — сказал отец, — Раскрывай первое ведро и объявляй, что мы продаём по сорок копеек за килограмм.

— По сорок копеек? — удивился я. — А не слишком ли это дешёво?

— Дёшево? — в свою очередь удивился отец. — А ты хочешь, чтобы мы тут до вечера с тобой стояли? Я матери обещал через два часа быть дома.

Ну а потом он, разумеется, как всегда, добавил мне ещё и про рынок, на котором должно всем быть выгодно. В том числе и покупателю.

Но покупатель сориентировался уже сам. Увидев, какой перед ним товар, он давно выстроился в очередь, а когда узнал ещё и его продажную цену, то очередь стала расти на глазах.

Не прошло и получаса, как отец старательно упаковывал одно в одно моментально опустевшие ведра, и я снова понёс наши весы — сдавать обратно весовщице.

Наверное, она меня запомнила, потому что, увидев, спросила:

— Что, уже всё продали?

— Дурное дело нехитрое, — ответил я ей.

И через минуту мы ходили с отцом по торговым рядам, и он выбирал для матери, да и для себя тоже, арбузы и дыни. В этом деле он был непрезойдённым мастером. А затем поспешили на автобусную остановку, чтобы уехать домой.

— А у тебе хоть гроши на дорогу остались? — спросил на ходу отец.

— Да что ж у меня, гривенника не найдётся в кошельке на двоих? — удивился я. — Доедем!

И через полчаса мы уже сидели дома перед матерью и выкладывали ей свои покупки. Пока я приводил с дороги себя в порядок, отец рассказывал матери о виденном утром — о том, как Сюрчиха лёжа копала себе на завтрак картошку. — А ты шо, не знав? — удивилась мать. — Так вона давно вжэ не ходе. Ей и хлеб с магазина Корнийчыха прыносэ. . .

— Яка людина. . . Яка людина. . .

Мать опять нас покормила, а я снёс в погреб привезённые с базара арбузы и дыни — чтобы те остыли к обеду. А поднявшись наверх, застал на столе большую эмалированную миску, доверху наполненную свежими, пахнущими мятной эссенцией пряниками.

— Цэ, пока вы ездили на базар, я напекла, — гордо сказала мать, заранее предвкушая восторг, с которыми мы воспримем с отцом это известие.

Эти материны пряники, помимо всех своих прочих качеств, обладали ещё и уникальной способностью долго не черстветь, а месяцами сохранять удивительную свежесть, как будто их только за пять минут перед этим вынули из печки.

Как это всё у матери получалось, так и осталось для меня загадкой.

Попив с пряниками чай, я было потянулся за вчерашними газетами, отложенными мною для такого случая, но почитать не пришлось. Меня ждало новое задание.

Мать, убрав со стола посуду, достала из посудного шкафа небольшую эмалированную миску и доверху наполнила её пахнущими на весь двор пряниками.

— Возьмы, виднесы Сюрчихи. . . Тилькы мыску там не оставляй.

И вот я опять иду той же дорогой, по которой мы шли с отцом утром на автобус, только в руках у меня не наполненные грушами ведра, а завернутая куском марли миска с пряниками. Осторожно открываю калитку Сюрчихино дома и сразу же попадаю под истошный лай беснующейся на цепи собаки.

Можно было бы отдать ей для успокоения один пряник из миски, и собака бы утомилась, но мне стало его жалко, и я, прижимаясь спиной к стене давно не белённого дома, с трудом протиснулся на крыльцо.

Сюрчиха лежала на веранде на тахте точно в таком же положении, в каком мы её видели с отцом утром на грядке. Опираясь на локоть левой руки.

На небрунном столе стояла тарелка с недоеденной отварной картошкой и что-то там ещё, на что я старался не смотреть.

Увидев меня, она широко раскрыла от удивления свои глубоко сидящие на изрезанном морщинами лице глаза, но я назвал себя, и чёрное от старости лице просветлело. А когда я сказал ей и о цели своего прихода, несчастная старуха даже попыталась улыбнуться.

Но мне с ней чаи гонять было некогда, и, быстро высыпав принесённые пряники прямо на стол, рядом с недоеденной картошкой, я попрощался и так же, как и заходил, вышел. На этот раз почти не обращая внимания на рвущуюся на цепи собаку...

Позже я не раз вспоминал этот эпизод, настолько крепко он врезался в память. И каждый раз не переставал дивиться мужеству этой старой и разбитой жизнью женщины. Уж кто-кто, а она, опираясь на свою деревянную клюку, легко могла бы сесть на углу своего садового участка и положить перед собой какую-нибудь старую посудину.

И люди, я уверен, кидали бы ей туда свою мелочь, чтобы облегчить Сюрчихино существование.

А вот не села. Решила до конца своего бороться за жизнь, бороться и не сдаваться.

Многие ли из нас могли бы похвастаться такой же волей?

Не знаю, как кто, а лично я перед такими людьми снимал бы свою шляпу. А то...

Иду на днях мимо Покровского храма в Красноярске, а навстречу мне детина, сильно пахнущий дешёвой сивухой.

— Подай, отец, на пропитание калеке...

— Тебе? Калеке? Да у тебя морда поросят бить просит, а ты на церковной паперти клянчишь! Сколько в Сибири земли свободной, сколько простора, возьми лопату, вскопай делянку в тайге и живи в своё удовольствие. Чего вы все боитесь? Начальства? А Бога, значит, не боитесь?

Или собрался недавно на утренний променад от своего дома до Октябрьского моста по острову Татышеву—и, не доходя немного до Стрелки, натыкаюсь на новое «приключение». Выбегает из полуподвального кафе здоровый верзила, от которого, несмотря на ранний утренний час уже разит шампанским.

И тоже не просто так, а с просьбой:

— Отец! Дай, пожалуйста, денег—нечем расплатиться в кафе...

Тут я в ответ прямо-таки взорвался:

— С какого такого бодуна ты это решил, что я специально вышел в такое раннее время в город, чтобы раздавать свою пенсию прохожим? А заработать себе денег не пробовал? (Тут внизу, откуда он только что выскочил, раздался заливи́стый женский смех). И потом, милый человек, запомни одну вещь, раз ты назвал меня своим отцом: никогда не бери в свой рот спиртного, покуда пушка на

Караульной горе не выстрелит. Иначе пролетит твоя жизнь—ты и не заметишь...

Ей-богу, думаю, что услышь эти мои слова Сюрчиха, она была бы довольна...

А завершить свой рассказ мне хочется ещё одним штришком из прошлой жизни—из своей последней поездки в Запорожье, случившейся как раз в канун последующего потом на мой родной город бандеровского нашествия.

По давно заведённому правилу, когда бы я ни приезжал в родные края и где бы я при этом ни останавливался, но, отдохнув от дороги, назавтра всегда с раннего утра непременно отправлялся на деревенское кладбище к своим родителям. Они завещали нас похоронить их там, «у ставков», и мы это желание выполнили. И ещё один раз я бывал на этом сельском погосте, где были их могилы,—за день до своего отъезда из Запорожья.

Так было и на этот раз, когда ранним августовским утром я вышел из рейсового автобуса на родной городской окраине, где прошли мои детство и юность, и полной грудью вдохнул воздух, к которому привык с малолетства.

Располагается деревенский погост в красивейшем, на мой взгляд, месте, километрах в четырёх от нашего дома.

Идти к нему надо через поля, через лесозащитные полосы, появившиеся здесь ещё в сталинские времена, но потом без хозяйского ухода превратившиеся в непроходимые чащи.

Чуть выше кладбища тянется железная дорога, соединяющая Днепровский промышленный район с Донбассом и с Кривым Рогом.

По ней почти непрерывно идут или шли раньше грузовые поезда—с углём и рудой, с лесом и лесоматериалами, с различными строительными грузами.

Чуть реже ходили по ней пассажирские поезда, по которым мы узнавали, оторвавшись от дома, точное время.

Прошёл, скажем, на Запорожье с восточной стороны рабочий поезд—значит, ровно два часа дня. А если он идёт от нас в Ясиноватую или в Пятихатки—то это половина четвёртого.

Рядом с кладбищем напряжённо гудит от многочисленных машин, спешащих к южному морю, важная для когда-то великой страны автомобильная магистраль Москва—Симферополь. Которая после распада Советского Союза почему-то вдруг превратилась в одностопную в автомобильную дорогу Харьков—Симферополь. А уж как она называется теперь, в наши дни, я и не ведаю...

Но строилась эта дорога на моих глазах, сразу же после войны, и строилась немецкими военнопленными, которым мы, с разрешения своих матерей, таскали хлеб и другую снедь, меняя всё это на хозяйственное мыло.

А подпирает сельское кладбище снизу большой и полноводный ставок, представляющий из себя

запруженную речку, густо поросшую камышом. Здесь проходило моё детство, здесь я постигал свои первые азы.

На противоположном берегу ставка располагается небольшое сельцо, которое именовали в те времена «Запорожской Сечью» — по названию одноимённого колхоза. Хотя на самом деле, это я выяснил уже потом, по карте, оно носило совсем другое название — Чапаевка. А как его кличут сегодня, известно разве что Богу...

Сойдя с автобуса, я захожу в стоящий рядом с остановкой магазин, покупаю для себя четвертушку водки, что-то из закуски, бутылку минеральной воды и иду в нужную сторону. Причём минуя своих родственников, не заходя по дороге даже в родительский дом, в котором я жил и вырос.

В такие минуты я хочу побыть один и не хочу общаться ни с кем.

По дороге на сельское кладбище меня встречают кусты садовой ежевики, которые упорно отвоёвывают себе место под солнцем у дикорастущей здесь малины. И я, не останавливаясь, прихватываю ладонью отливающие синевой ягоды, с удовольствием ощущая во рту полузабытый вкус детства.

Издредка встречается абрикос, но его время прошло, хотя если очень постараться, можно ещё отскатать на деревьях чудом уцелевшие переспевшие плоды — большая их часть давно уже осыпалась на землю и гниёт, перемешавшись с листьями.

Также перегнивают и жёлуди от превратившихся в густую дубовую рощу саженцев, за которыми мы ухаживали на уроках ботаники в школе.

Дорога ведёт меня к ставкám, конца которых я не знаю. Когда-то специально попытался даже было найти самый первый из них в этом непрерывном ожерелье ставков, да так и не сумел. Проехал несколько часов вверх по течению реки на велосипеде, а они всё идут и идут один за другим. Наверное, так до самого Донецка.

Солнце в августе жарит почти как в июле, поэтому вся растительность в поле давно выгорела. Но возле ставков, в ложбинках, замечаю кровавые степные маки, жёлтые стебли дрока, голубые, как небо над головой, колокольчики...

Когда-то в детстве я знал названия всех без исключения трав в округе и очень этим гордился. Как и знанием звёздного неба, например, географии...

Но знания без применения забываются, и я просто срываю встречающиеся мне цветки, формируя букет.

Его я всегда оставляю на могиле своих родителей, потому что, кроме нас, своих детей, моя мать больше всего в жизни любила цветы.

А что может быть красивее цветов полевых?

Так что когда я приблизился к церковной ограде, то в руках у меня уже был увесистый букет.

Но на этот раз, войдя на погост через кладбищенскую калитку, я не пошёл, как обычно, сразу

к своим, а завернул чуть наискосок, чтобы подойти к ним с другой стороны.

Что-то меня так заставило пойти, а что — не пойму...

Но я сделал пару шагов в сторону — и остолбенел: прямо передо мной стоял врытый в землю покосившийся крест, изготовленный из уже изрядно поржавевших металлических труб. Давно заброшенная могила, поросшая жёлтой, выгоревшей на солнце травой.

Но я стою перед ней и не могу оторвать своих глаз. Потому что читаю на металлической табличке, приваренной к кресту, имя усопшей: А. Н. Сюрко.

А под фамилией — стёртые временем и зимними дождями (не разобрать!), неряшливо написанные даты её жизни и смерти.

Так вот где ты, оказывается, Сюрчиха...

Всё правильно, могила одинокая, самого Сюрка здесь нет, самоубийц по православным канонам на кладбищах не хоронят, так что удивляться нечему.

А что касается травы, то в этом тоже нет ничего необычного. Кто сюда, на деревенский погост, будет ездить из города? К своей живой матери её сын Сашко ходил, как мне помнится, редко, а зачем она ему теперь, мёртвая?

Впрочем, обрываю я себя, чужая душа — потёмки...

А потом ещё и добавляю шёпотом укоризненно, что не судите сами — не судимы будете...

Какое-то время стою возле этой одинокой и заброшенной могилы, а потом, для верности факта, обхожу её несколько раз по кругу.

Всё верно, это она.

Ну и на что мне эта женщина, скажите, пожалуйста? Ведь я о ней ничего не знаю. Ни-че-го! Ни того, с кем она была раньше, где работала, как жила, ни даже того, как пережила войну...

Чужой абсолютно человек...

Я даже не знаю того, когда она умерла.

А вот поди ж ты, не даёт почему-то покоя, хоть умри. Даже в Сибири о ней вспоминаю иногда. Будто она для меня самый близкий родственник. Ещё немного — и снится начнёт, если доживу до этого, конечно.

Вспомню, как мы идём мимо её дома с отцом, а она лежит в своём саду на боку и копает сапёрной лопаткой себе картошку на завтрак...

Какая жажда жизни! Какой неуёмный человеческий дух!

«Яка людына», говоря отцовскими словами...

Я отщипываю от своего роскошного полевого букета добрую треть собранных по дороге на кладбище цветов и осторожно возлагаю их у подножия давно не крашенного металлического креста.

Спасибо тебе за науку жизни, тётя Нюра! И пусть тебе будет пухом наша жирная украинская земля!